

Игорь ПОТОЦКИЙ ПАРИЖСКИЕ СТРОФЫ

1

Тебе среди парижской сутолоки
не выдам скорбных мук своих,
чтоб не плутала и не путала
с ноктурном мой последний стих.
Боюсь его дыханьем льдыстым
ворваться в жизнь твою, как в круг,
где, зачарованная Листом,
ты не боишься зимних вьюг.
Ты вновь легко находишь пристань —
Париж, не хочется домой,
ведь где еще сыграешь Листа
на мостовой?

2

Стать поперек Парижу в одночасье,
срываясь, как Целан, уйти в ничто,
но перед этим нацарапать наспех
последний стих — огромный, как метро.
Как будто там столкнулись два состава,
и ничего уже не разберешь,
и мысли то налево, то направо
бегут толпой сквозь вымысел и ложь.

Дрожит стиха последняя молитва,
блестят сурово недругов штйки.
Проиграна решающая битва,
вниз головой летишь на дно реки.

3

Здесь нищие поэты плыли
в чаду трагических утрат,

им годы подрубили крылья,
не выдав премий и наград.

Летят стихи разноязыкие,
устраивая тарарам,
о волны Сены мрачно тыкаясь
и разбиваясь тут и там.

Так и не ставшие великими,
давно почили их творцы,
не озарив своими ликами
музеи, площади, дворцы.

4

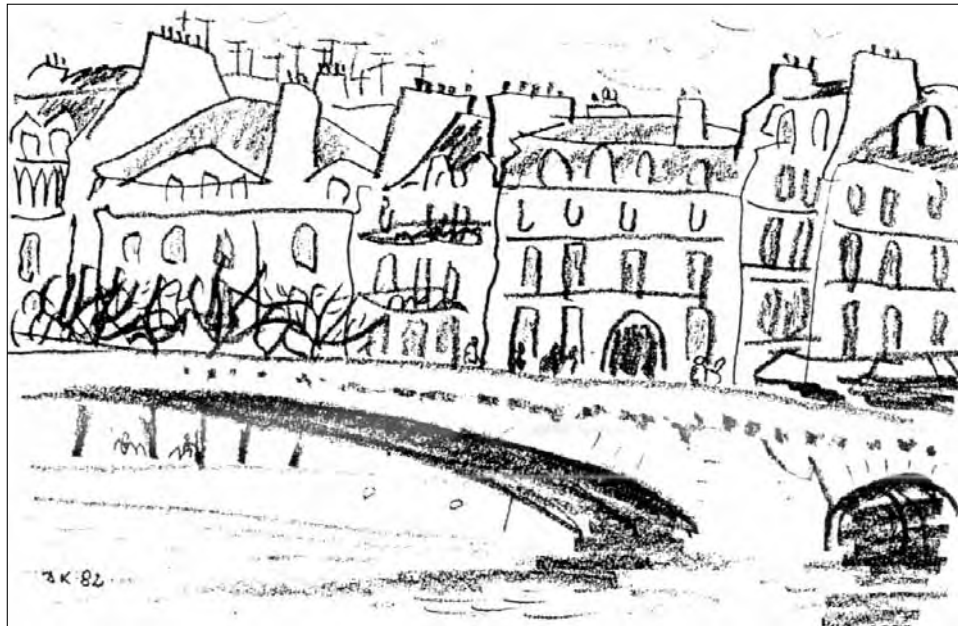
Клошарная мука без звука
отпугивает на лету
умеющих слышать в два уха
чужую тоску и беду.

Вступив в состязанье с Равелем,
замедлила вьюга шаги.
И кровь уже на акварели,
как возглас "скорее сожги!"

Заминкой, случившейся в хоре,
я горе чужое приму,
как в детстве — не Черное море,
а только холодную тьму.

5

Венсенского леса, как гунны,
вновь гулы поведать вольны,
что рвутся любовные струны



под взглядом жестокой луны.
Страшнее любого трамплина
ее несговорчивый взгляд,
где боль и тоска воедино
сошлись, как слепцы, наугад.

6

Проступает на холст
боль, подобно осенней листве,
но осилю я злость
и письмо допишу я тебе.

Боль и холст — вразнобой,
злость и строчек нелепый каскад.

Тут вступает гобой,
и ему не бывает преград.

7

Белая, как береза, и юркая, как мышь,
выбравшись из печали, как из пальто,
сколько слов ты выдумала про Париж,
где до нас с тобою не бывал никто.
Там совсем не праздничен зданий вид,
там окурков масса прижалась к земле,
там твой юный голос слегка дрожит,
словно потеряться боится во мгле.

2007

СТИХИ О ПАРИЖЕ 2007 ГОДА

Безумней всех начал тех траурных симфоний,
где близок час разлук и где поникла медь,
в последний раз твой смех, как в трубке телефонной,
услышал и поник, готовясь умереть.
Прощай, прощай навек, уже мне не приснится,
как ты лежишь нагой на смятых простынях,
таинственной дождя, влекущую страницей,
мелодией утрат, запрятанной в стихах.

Мне подарил Париж не просто твое тело,
а виражи любви, где каждый твой изгиб
то скрипкою звучал, не ведая предела,
то барабана дробь бросал в сердечный всхлип.
И лунный свет парил над музыкальной строчкой,
где нота, как ладь, возвышенно плыла,
когда настала ночь, и ты в одной сорочке
легко ко мне вошла, исчезла сразу мгла.

Нас подхватила страсть — и струны зазвенели,
беря любой трамплин и уходя в зенит,
и замолчал Париж, как голос пустомели,
чья речь иссякла вдруг и больше не гремит.
В любовную игру, отгородясь от боли,
не видя ничего, помимо старых крыш,
играли мы с тобой, забыв другие роли,
любили мы навсхлип, как нам велел Париж.

Буду помнить тебя в двух обликах — и жалкой, и жаркой,
населившей собою почти беспредельную тьму,
словно в граде ночном ты одна, становясь парижанкой,
мне шептала Рембо, доверяя лишь мне одному.
От степи черноморской почти ничего не осталось,
ведь ее удержать невозможно в ладонях пустых,
почему же одесское солнце слепящую ярость
все струило с небес, наподобие пуль холостых?
Почему же Париж мне казался ночной Молдаванкой,
где безоблачен смех, где ирония вечно царит,
где я в детстве любил наблюдать голубей спозаранку,
забывая внезапно тревожную тяжесть обид.
Помнишь, шли мы с тобой

мимо домиков старых, невзрачных,
ты прижалась ко мне, словно боль всю свою отдала,
что, как белый флажок, прицепилась однажды на мачте,
а потом уплыла, прошумев, как под ветром ветла...
Тут в военные дни на погибель евреев собрали,
на убой повели, полицейские рыла тупы,
но тогда в темном небе облака безутешно рыдали,
закрывали глаза, расшибали в отчаянье лбы.
Отгремела война, расцвела Молдаванка весной,
зашумели акации гордой своею листвою,
но опять мне казалось, что серой и страшной толпою
проплывают евреи, которых ведут на убой...
Но теперь — прочь виденья! С тобою мы бродим Парижем,
а потом — ты моя. Навсегда! И холодная тьма
отступает бегом, понимая, — ее ненавижу,
но рассвет настает. Как прекрасны над Сеной дома!

В Люксембургском саду я возлюбленной тень повстречал —
не своей, а чужой, и ее колыхались ресницы,
отвергая тоску, прогоняя навечно печаль,
закрывая глаза, где огонь ничего не боится.
Этой тенью прекрасной, возникшей под фонарем,
был я заворожен, потому мне деревья листвою
напевали про сон, где мы долго бродили вдвоем —

все кружились по саду, сведенные вместе тропой.
Та тропа — как судьба, почему же шептала с тоской
тень возлюбленной голосом ветра, где много печали:
— Забери меня, слышишь, от злобного смеха укрой,
свое сердце открой, хоть тебя я увижу едва ли!
Тень лицо закрывала, и плакала долго навзрыд,
вспоминая мужчин имена, чьи крамольные руки
проиграли на ней марш любви и сонату обид,
и пропали в саду, как роляя высокие звуки.

Вдруг вестника прекрасное лицо увидел я
и понял, что напрасно
твое лицо пытался я забыть и сразу вспомнил,
как оно прекрасно.
Париж был ослепителен, но боль дыхание пронзила
на мгновенье,
я потерял опору и упал, как будто с лестницы; одни ступени
перед глазами. Больше ничего. Как будто я
легко качусь со склона,
и тело раздирают камни, душу мне раздирает
похоронным звоном,
но ангела я вижу над собой; он тянется ко мне,
и он все ближе,
почти вплотную, он меня спасет.
Луна уже сверкает над Парижем.

— Луна, твой ангел улетел куда-то,
но перед этим спас меня. Я помню
его лицо божественное; сумрак,
где роем тени; недовольство ролью,
в которой я в Париже, — жалкий странник,
голодный нищий и ниспровергатель
всего и всех, где громко я рыдаю;
и, шаря по стене, я выключатель
найти пытаюсь, только он, как муха, выскальзывает.
Свет молчит —
мир темен, витиеват, к предательствам готов он.
Как долго он молчит
и как страдает! Скорей, скорей
пусть вспыхнет злая люстра!
Пусть канет темнота! Скорей, скорей пролейся, свет,
ведь без тебя так грустно!

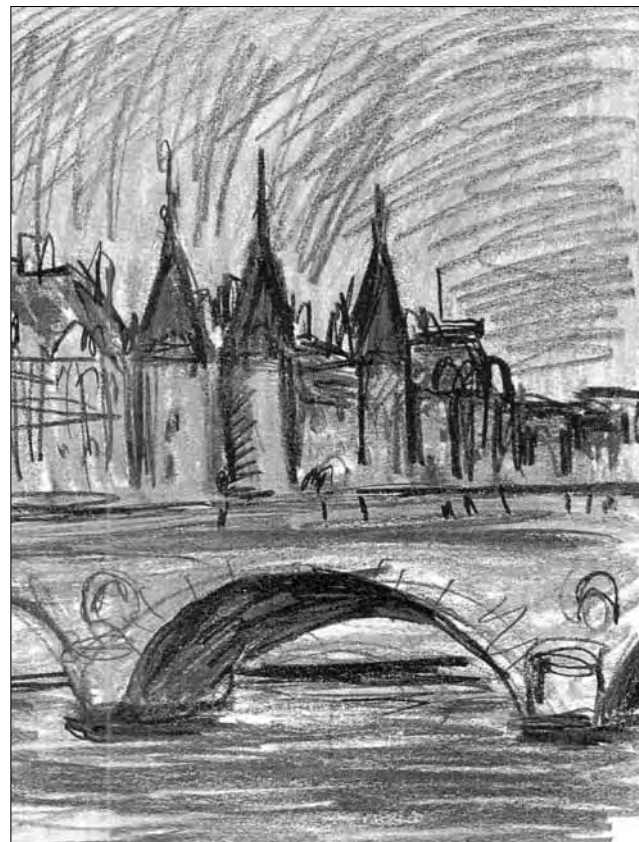
Луна молчит, прикрыв лицо ладонью...

Плачь, башня Эйфеля, что от меня ушла,
похожая на осенний дождь,
возлюбленная, хлопнув дверью, ушла,
и ее теперь не вернешь.
Взгляды ее кругами на Сене дрожат,
в реке обретая наконец-то покой,
они спустились на самое дно,
их невозможно достать рукой.
Они между камешков залегли, как в памяти годы,
и только один
камешек в кармане моем,
но он холоднее всех вьюг и льдин.
Плачь, башня Эйфеля, пусть кругом
траурный зазвучит ноктурн,
как будто ветер стал смывком, и кроны дерев коснулся,
как струн.
И эти струны нам говорят, что каждый из взглядов твоих
прошелестел, проскрипел,
а потом превратился в траурный стих.

Плачь, башня Эйфеля, слез не жалея,
глаз своих не смыкай,
пускай донесется твой скорбный плач
в мой черноморский край.

Плачь, башня Эйфеля...

Париж — в тебе, а ты сейчас во мне
и повторяешь, как стихотворенье,
что площади Вогезов нет прекрасней.
Стоит февраль. Я плакать не готов.
"Возьми меня!" — ты шепчешь.
Я не слышу. Я фонарям читаю о закате
какие-то совсем чужие строчки.
Читаю и смотрю, как твое платье
становится афишей. Улетает.
Не убегай, ведь нагота прекрасна.
Ты лишь ресницы совмести. Скорее!
Возьми меня или себя отдай!
Вонзи в меня не просто свои чары,
ведь мне до них нет никакого дела —
Париж их гасит прямо на лету, а что-нибудь существеннее!
"Тело?" —
ты спрашиваешь. Я не отвечаю.
Кругом цветы. И ты уже — ромашка.
Но, став цветком, ты вырвалась наружу.
И я — в тебе. И рядышком Париж.
И пауза длиннее двух столетий,
где войны, революции, стихи
немислимо мне близкие — Целана.
Я цепенею, снова их услышав.
А ты отводишь губы.
И ресницы — две стаи диких уток, что все дальше
летят, легко сливаясь с горизонтом.



Рисунки Николая Дроникова